

Успенский Лев. ГИМНАЗИЯ МАЯ

Отрывок из книги Благово Н.В. Школа на Васильевском острове. Ч. 1. СПб, Наука, 2005. С.344–347.

Хмурое декабрьское утро 1911 г. Темный еще – в девятом часу в Петрограде совершенно темно – уходящий в бесконечность, в зимнюю мглу Средний проспект...

Маленькая фигурка в долгополой «реальной» шинели, но в шинели не петербургской, а южной, киевской, не черного, а синего сукна, этакого своеобразного «блё дё жандарм», с тюленьим ранцем за плечами, уже питерской – тоже реальной фуражке, черной с выпушками и медными лавровыми ветвями (между ними буквы «РУМ» – реальное училище Мая) над козырьком, фигурка эта (довольно, однако, плотная и широкоплечая фигурка) тащится теперь на левой панели вдоль по Среднему.

Мальчишка удручен, убит. Его только что перевели из одной школы в другую, точнее – уже не в другую, а в третью за последние полгода. Он надеялся вернуться в ту, где он уже проучился три года до всех перемен, но намерения родителей не совпали с его надеждами. Его привезли сюда из Киева и определили в реальное училище Карла Мая на 14-й линии, а не в милое его сердцу Выборгское коммерческое училище у Финляндского вокзала. И все – заново. И – новые учителя. И – новые классы. И – новые товарищи. И само место, где находится этот училище, – тоже новое, на незнакомом ему Васильевском острове. И каждый день – зимой в утренней тьме – надо вставать в семь часов, и садиться на «Восьмерку», и ехать до угла Первой линии, и затем идти пешком по всему Среднему...

Толстый мальчишка в смешном «киевском» фирменном пальто шел в те дни первые разы в гимназию и реальное училище К.И. Мая.

Директором гимназии (и реального училища) был Александр Лаврентьевич Липовский. Возьмите с полки восемьдесят второй полутом Энциклопедии Брокгауза и Эфрона. Там в самом конце, среди бесчисленных фотографий редакторов пришедшего к концу солиднейшего по тем временам (да что греха таить – во многих отношениях и доньше образцового) издания, сто тридцатым по счету в отделе «СОТРУДНИКИ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ» помещен и Александр Лаврентьевич. 82-й том вышел в 1904 г. Следовательно, уже в это время он был молодым ученым, способным не только вести преподавательскую деятельность, но и работать в таком далеко не простом научном предприятии, как составление большого энциклопедического словаря.

Увы, толстый мальчик, проходивший под вывеской «Аптеки Тилики», принадлежащей провизору Фридриху Рейнгольдовичу Тилику, не знал этого. Да если бы даже он и узнал, то навряд ли так сразу же преисполнился бы почтением не к человеку, а к возглавляемой им школе. Глотая горькие слезы, мальчик шел мужественно вперед, пересекал Восьмую линию, потом подходил к Четырнадцатой (тут на углу помещался кинематограф со странным двусмысленным названием: «Рояль Стар»), сворачивал за угол и перед ним открывалась высокая округленная арка школьных дверей – широких, щедро застеклённых, с любопытным скульптурным символом – листом, по которому ползет майский жук. Это – в самой верхней точке свода, на его ключевом камне.

Если бы мне тогда, второкласснику, было дано нынешнее моё взрослое восприятие мира, я бы, конечно, оценил как весьма положительный признак эту энтомологическую скульптуру над воротами науки. Она свидетельствовала, что у жрецов, священнодействующих за этими «воротами», есть чувство юмора. А это, на мой взгляд, в педагогике – один из самых добрых, самых многообещающих знаков.

Если бы я, с моим ранцем за плечами, был уже мудр и опытен, я обратил бы внимание и на то, что за углом Среднего, где помещался «Рояль Стар», образовывалось вдоль тротуара целое небольшое скопление и «собственных выездов», и «моторов», то есть автомобилей. Из них вылезали такие же «гимназисты» и «реалисты» Мая, как я, и, захлопнув дверцы, пешком устремлялись за угол к «майским» дверям. Это происходило потому, что директором было строжайшим образом внушено родителям учащихся: «Если Ваше состояние позволяет Вам отвозить вашего сына на лошади или в моторе, я, конечно, не могу Вам это возбранить. Но я категорически настаиваю на том, чтобы он выходил из экипажа где-либо на пространстве от угла Тринадцатой линии до угла Четырнадцатой. И лучше – ближе к углу Тринадцатой. Я настойчиво возражаю против того, чтобы в юных умах учеников, с раннего возраста запечатлевалось впечатление имущественного неравенства их и их товарищей».

И – помню на протяжении многих лет – и Павлуша Эпштейн покорно вылезал из ландо, влекомого белым Россинантом, и проходил, слегка задыхаясь, двадцать остающихся саженей до школы; и изящный, всегда прекрасно одетый старшеклассник Каминка соскакивал с легких саночек, откинув медвежью полость, даже не на Среднем, а на 12-й линии, возле дома Дервиз; и смуглые братья Абаза далеко выходили из своих автомашин, оставляя в них роскошно закутанных в меховые дохи шоферов... И разумеется, это тоже должно было быть расценено как несомненно положительный признак.

Конечно, поискав и подумав, можно было бы обнаружить также признаки и черты с противоположным знаком или, еще чаще, без чисто отрицательного смысла и значения, но все же скорее – не совсем «плюсовые»...

Внешнюю дверь, с мощной изогнутой медной рукоятью, например я, как и каждый, толкал сам. Но следующую, внутреннюю дверь тамбура передо мной, как перед каждым гимназистом и реалистом, точно так же, как перед каждым преподавателем, если и делая между ними какую-либо разницу, то, может быть, только в мере почтительности интонаций, распахивал уже всем нам майцам памятный (и всем сказал бы я – нам милый) «швейцар Степан». У Степана было широкое унтер-офицерски-русское лицо, лицо крепкого ярославского крестьянина. Он был одет в светло-серую кургузую тужурочку с гладкими золотыми (медными, конечно), по пяточку размером каждая, пуговицами. У него были светлые небольшие усики и необыкновенная, не соответствующая достаточно плотной фигуре, легкость на поворотах. Кроме задачи впускать нас всех в двери Степан должен был выполнять еще разные функции: передавать преподавателям какие-то повестки и записки, лежащие на столиках перед двумя зеркалами у внутренней, тоже цельностеклянной стенки вестибюля, подметать пол, вытирать пыль, передавать какие-то словесные поручения, иногда отвечать на телефонные звонки в вестибюль. Но за все шесть лет пребывания в гимназии я ни разу не увидел, чтобы в тот момент, как я уже готов был взяться за ручку внутренней двери, Степан не подлетел к двери изнутри, не распахнул её передо мной – да и перед любым пригостишкой – с одинаково помпезным видом, не сорвал неуловимо быстрым движением со своей головы форменной фуражки с золото-галунным околышком и не отчеканил с высочайшей почтительностью: «Здравствуй, господин Успенский!», «Здравствуйте, господин Новиков!», «Здравствуйте, господин Керкис!», «Здравствуйте, господин Коновалов!» При этом господин Коновалов мог быть на две или три головы выше самого Степана, а «господин Керкис» походил на маленького смуглого мышонка, в смешном синем беретике, готового мгновенно проскользнуть у того же Степана между ног.

В гимназии и реальном училище одновременно училось около 400 человек. Степан знал по фамилии каждого.

Можно было бы подумать: вот она какая была антидемократическая школа! Вот какое поощрялось начальством раболепство по отношению к гимназистам и реалистам, причем с самых младших ступеней. Вот как воспитывалась привычка к холуйству со стороны «прислуги»...

Но тут мне вспоминаются и мои ежедневные уходы из школы. Как и утром – было почти немыслимо, чтобы Степан – если нужно, даже мгновенно отбросив в угол щетку, которой он подметал кафельный пол вестибюля, – не распахивал перед каждым из нас двери, не вскидывал фуражки высоко над головой и не возглашал на весь вестибюль своего, каждому майцу на всю жизнь памятного, «Алибидерчик, господин такой–то!».

Никто не мог нарочито обучить его этому итальянскому «Аривидерчи!». Все преподаватели слышали его ежедневно. И никто никогда не вмешивался в эту странную форму приветствия; не вмешивался, по–моему, именно потому, что через нее швейцар Степан пресмешно подшучивал над обычным швейцарским холуйством. И сами мы отлично понимали, что такое приветствие можно было воспринимать только как шуточное. Как пародию.

Мне кажется, что не без невольной помощи Степана мое мрачное отношение к постигшей меня трагедии перехода в новую школу прошло в считанные дни, и вскоре я уже прочно и с удовольствием пустил корни в майскую почву. Сначала мне было несколько трудновато привыкнуть к масштабам самого здания гимназии (её обычно так и называли: «Гимназия»), а также к масштабам самого, если так можно выразиться, «педагогического действия» в ней. Я привык в ВВКУ, помещавшемся в самой обыкновенной «жилой квартире», с его неполной укомплектованностью, с небольшим числом и учащихся и учащихся, с атмосферой почти домашней, почти семейной. Я повидал в течение нескольких месяцев казенное и насквозь пропахшее меловой пылью и ядовитым запахом анилиновых чернил лиловых казенное Киевское Екатериненское реальное, с его всегда запертым на ключ «актовым залом» и длиннейшими рекреационными коридорами, – сущую бурсу, как у Помяловского.

А здесь я столкнулся с чем–то совсем третьим, не похожим ни на то, ни на это. Здесь было три огромных светлых зала в трех этажах. Залы были распределены по возрастам. С приготовительного класса по второй ученичество пребывало в первом этаже. Классы с третьего по пятый владели средним, а гимназисты–шестиклассники, семиклассники и восьмиклассники царствовали в верхнем этаже, и в зале, и на площадке лестницы.

Скажу сразу про два старших зала. Наверху почтенные юноши, похожие, благодаря тогдашним пиджачным тройкам, уже не на школьников, а на студентов, чинно прогуливались в зале по кругу все перемены, парами, по трое–четверо. В середине этого круга помещался «зальный надзиратель», следивший за порядком. Разумеется, ему уже не приходилось подвергать вполне взрослых юнцов каким–либо мерам наказания тут же на месте. Единственное, с

чем он – да и то больше для проформы – боролся, это с убеганием части молодых людей в такую «приватную курилку» – у двери на чердак. На черной лестнице за уборными. В этом зале, вообще говоря, царствовала тишина, порядок, разговоры если и не вполголоса, то и не в полный голос... На стенах здесь висели портреты (не красочные, что казалось бы казенщиной, а большие фототипии) – царя, царицы и наследника, довольно приятные на взгляд, в полированных желтых рамах. На площадке этого этажа, очень большой, Г-образной, в стенных неглубоких нишах стояли бюсты, но вот уж чьи – не помню точно. Как будто великих писателей России Пушкина, Толстого, Тургенева, но, может быть – каких-либо великих ученых или Гомера, Шекспира, Гёте. Что позабыл, то позабыл.

Высокие, под самый потолок аркообразные двери двух классов выходили у обоих концов ножки буквы «Г» (в данном случае «Г» было, так сказать, «оборотным»). Три такие же двери, превращавшие всю внутреннюю стену класса в стеклянную перегородку, выходили в самый зал. Еще один класс помещался по ту сторону зала, в чем-то вроде короткого коридора-расширения.

Точно так же были устроены и два нижних этажа. Однако площадки в них были уже не такие свободные, как наверху. Длинную ножку «Г» в среднем зале занимал проход в «исторический кабинет» и самый этот кабинет за нею (а кабинетам гимназии Мая могли позавидовать многие вузы); в нижнем этаже под этим кабинетом располагался короткий коридор и тот самый «второй класс реального», куда меня приняли в декабре 11-го года, как перешедшего из Киевского реального же. В нижнем зале, если заглянуть туда во время переменки, можно было легко сойти с ума непривычному человеку. По стенкам этого зала во всю его длину на одной стороне, в простенках между окнами – на другой были укреплены в том году покрашенные в желтый цвет гимнастические приборы (лестницы, которые, по-моему, так и называют «стенками») и на них на разных уровнях от пола висели, медленно, как ленивцы, перемещались, поднимались и спускались неторопливые фигуры мальчишек. Внизу же шли такие яростные «кошки-мышки», «пятнашки», «третий лишний», «жмурки» – все сразу, что можно было только диву даваться на выдержку и крепкие нервы двух – тут уже двух! – надзирателей по залу, наводивших скорый суд и расправу каждый в своем конце зала. Надо признать, что немногие педагоги соглашались на эту муку-мученическую: в нижнем зале я помню в этой роли только троих самоотверженных подвижников, всем «майцам» памятных: Михаила Георгиевича Горохова, учителя рисования и лепки, Александра Константиновича Аксенова, моего первого майского естествоведа, и Павла Дмитриевича Соколова – учителя гимнастики. При всем

спокойствию их, при всей невозмутимости, педагогические принципы требовали, конечно, вмешательства. И вот мало-помалу свободные места у подножия гимнастических приборов устанавливались несчастными фигурами наказанных, поставленных «к стенке» кто на две, кто на одну минуту... Они стояли, бросая умоляющие взгляды (а случалось – и несчастные же вопли) к жестокосердным повелителям, а вокруг них кипела и неистовствовала двойная хоровод, совершенно напоминающий пляски и игры племени обезьяньего Бандар-Лога Киплинга.

«Средний зал» именно и был «средним». Бандар-логизм тут уже оставался в прошлом. Тут допускались «организованные игры»: в концах зала были укреплены баскетбольные сетки; поперек его можно было натянуть большую сетку для чего-то вроде современного волейбола (кажется, тогда этого названия еще не было). И только на большой перемене все залы сравнивались.

В гимназии было такое устройство: желающие могли получать в столовой горячий завтрак из одного блюда плюс холодный компот и при желании сколько угодно стаканов чая, но при одной булочке. Многие приносили свои завтраки с собой (у меня и сейчас на губах вкус кетовой красной икры или охотничьих, круто копченых колбасок с французскими булками); они могли на большой перемене хоть пять раз подходить к служителю за кружкой чая.

Но был и еще один контингент, от школы полагалось каждому желающему на той же большой перемене (или на «пред-большой, это бывало по-разному) право получить кружку крепкого чая с двумя ложками сахарного песка и одну копеечную фигурную булочку – розанчик, пистолетик, маковую подкову.

И вот – что тут сделаешь с этой смешной, вовсе не обязательно школярской, даже и общечеловеческой психологией. Даже те, кто имел право чинно шествовать в столовую, где их ждала свиная отбивная или кусок пирога с капустой, даже те, у кого в портфеле лежал аккуратно запакованный в пергаментную бумагу завтрак с колбасками, с крутыми яйцами, с икрой, – все они как бешеные летели в зал, толкая и давя друг друга, из спортивного интереса – захватить две булочки и лишнюю кружку сладкого чая. И в этот великолепный миг во всех этажах происходила примерно одинаковая свалка, толчея, суматоха, и даже в те далекие времена наиболее разумные юнцы, пожимая плечами, отходили в сторону... «Ну и ну! – бормотали они. – Ай да-да!» Воистину – бандар-логи!

Для того, чтобы освоиться вполне с новыми порядками, преподавателями и соучениками, мне не потребовалось слишком долгое время: на рождество я съездил тогда домой, а спустя короткий

срок каникул вернулся обратно и уже с интересом втянулся в жизнь новой школы.

Во-первых, в классе издавали журнал. Первый выпуск такого журнала уже вышел в свет: это был небольшой напечатанный в типографии сборничек в темно-зеленой бумажной обложке. В нем были напечатаны статьи учеников-старшеклассников на самые разнообразные темы, их рефераты, читавшиеся на различных «кружках». Помню, там были статьи о «магометанстве» и об «истории судостроя»; были отчеты авиационно-планерного кружка и каких-то других кружков.

Беллетристикой старшеклассники не блистали, но зато по всему журналу были раскиданы стихотворения некоего Лоптина, как оказалось, мальчика только на год старше меня. Странные были то стихотворения, очень свободно написанные, дольно совершенные по форме, но пропитанные каким-то вроде как не вполне здоровым в мальчишке нашего возраста не то фантастическим, не то демонологическим духом. Теперь я могу сказать, что некоторые из них напоминали иные стихотворения Заболоцкого, например – балладу о «царице мух»...

Совсем другое дело пошло, когда Николай Константинович Ядрышев – один из наиболее близких и милых мне педагогов гимназии Мая, хотя там они, вообще говоря, были, что называется, за малыми исключениями, один к одному, – когда Н.К.Ядрышев, преподававший русский язык (владевший вполне свободно 14-ю европейскими языками; я про него еще расскажу), объявил собрание такого сборника в наших двух вторых классах. Сборник вышел; он был того же формата, именовался «Майский сборник № 2», 1912-го года.

В реальном Мая я проучился только пять месяцев и с осени 12-го года перешел уже в гимназию. Не помню, чтобы переход этот был предметом обсуждения со мной на семейных советах. По-видимому, родители решили все самолично, но у меня не было и не осталось никаких возражений против их постановления.

В реальном нажимали на математику, а у меня с ней было не вполне удачно; у нас не сложилось хороших отношений. В гимназии упор был на языки, меня это вполне устраивало; языки для меня больших трудностей не составляли. Странная у меня уже в те ранние времена образовалась память. Я без малейшего труда, почти произвольно, на лету замечал и запоминал все то, что не представляло никакой важности, – подстрочные примечания, курьезные пояснения к тексту, мнемонические стишки... Даже опечатки...

Но «разложение на множители» навсегда осталось для меня россыпью странных головоломок, озадачивающих, поражающих своей

явной искусственностью и в то же время одуряюще скучных. Тут уж все было завшено на чистой математической памяти, а ее–то у меня и не оказывалось...

Очень хорошо, что меня отдали в гимназию; в реальном я бы пропал...

Я еще не встречал за всю мою жизнь ни одного «майца», который бы не вспоминал свою школу с великой признательностью, с чувством теплой любви к ней и к самому ее зданию, к ее кабинетам и лабораториям, так же как и к ее преподавателям – нашим отличным во всех отношениях учителям, и к тому духу школы, который воплощался в постоянно повторяющихся в ней словах, в старом педагогическом девизе, звучавшем «Сначала полюби, а потом уж обучай».

Школа Мая давала своим питомцам главное – любовь к знанию и умение не сидеть в ожидании очередной порции этих знаний, как сидит кукушонок, разинув рот, на краю гнезда, ожидая, чтобы ему сунули в разверстую глотку очередную гусеницу, а летать самому за своей познавательной пищей, добывать ее в охотничьей погоне, приспособиваясь к разным условиям охоты, наслаждаясь самим процессом познания.

Смело скажу, что в том интеллектуальном фонде, который я приношу с собой к концу жизненного пути, по меньшей мере три четверти сложилось во мне уже в гимназии Мая, усилиями ее учителей. Добавлю к этому, что и в образовании «морального» Я каждого из нас, бывших «майцев», роль нашей школы подавляюще велика.

Я очень рад подкрепить все эти громкие слова конкретным фактом. В Музее истории Ленинграда облоно и сам музей организовали отличное «мероприятие» – вечер по поводу столетия со дня рождения А.Л.Липовского, замечательного педагога и последнего директора школы Мая. На вечер этот пришли – довольно случайно найденные и извещенные – человек 20 нас, старых «майцев». Мы с большим удовольствием выслушали дельный доклад научных работников облоно и о личности нашего директора, и о самой нашей передовой, образцовой для своего времени, прогрессивно работавшей школе. Мы полностью согласились с этими докладами. А потом... А потом все мы, двадцать могикан, стали внезапно с помолодевшими лицами выходить один за другим и вспоминать самих учителей наших. И мило–смешного географа Владимира Степановича Иванова, с его маниакальной идеей о бедах, которые может вызвать Панамский канал; и Николая Федоровича Лоренца – чудесного, тяжело больного человека, учителя рисования; и талантливого историка Александра Августовича Герке; и «немку» Анну Васильевну Петровскую, обладавшую удивительным талантом превращать одним взглядом, исполненным легкого

пренебрежения, в примерно ведущих себя юношей самых отъявленных повес и проказников старших классов.

Один начинал, другой с радостью подхватывал, и закончилось это несколько неожиданным заключением. Одна из дам, бывших в президиуме собрания, вдруг стала хмуриться и в конце концов на очень высоких нотах предъявила не то самой себе, не то нам, не то кому-то еще острую претензию. «Вот тут выступали все очень немолодые люди. И все они называли своих учителей, с которыми они расстались уже более полувека назад, по именам и отчествам! Вспоминали их милые, их смешные, их памятные черточки, словечки, привычки... Они все узнавали их с первого же слова... Они радовались, а мне стало так горько!

Ведь я кончила школу перед самой войной... Так почему же я совершенно не помню (и никогда не знала!) ни имени, ни отчества – ни одной из моих преподавательниц? «Немка»... «химичка»... «алгебра»... «Алгебр» у нас сменилось по меньшей мере три: и я ни про одну из них ничего не могу сказать... В чем дело? Кто в этом виноват? Сами ли мы, с нашей неведомо почему выросшей невнимательностью к людям? Или – они, наши педагоги, тем, что не сумели внушить нам такие чувства, какие внушили вот этим «майцам» – их учителя...

Битва под Хорём

В четвертом классе русский язык преподавал у нас учитель, которого я тут назову не его именем: Гавриилом Андрониковичем Хмелевым. Это был очень милый молодой человек, с новеньким университетским значком на отвороте светло-серого пиджачка. Коренастый, с начинающейся лысинкой и длинными рыжеватыми усами, он был не то донским, не то кубанским казаком и в речи сохранил чуть заметный южный акцент... Почти незаметный...

Кроме того, он был очень вспыльчивым человеком, и впервые это проявилось как раз в той истории, которую я собираюсь рассказать.

По программе в классе должны были читать «Записки охотника», а они, как известно, открываются очерком «Хорь и Калиныч». «Хорь и Калиныч» были нам «заданы» на дом. В классе мы должны были разбирать рассказ. Я не обратил никакого внимания на то, что с первых минут появления в классе Гавриил Андроникович был в то утро чем-то раздражен, то ли недоволен – был в несколько нервическом настроении. Меня ничуть не удивило, что первый свой вопрос он обратил к первому ученику по литературе – ко мне.

– Успенский, скажите по прочтении рассказа, к кому из двух его заглавных персонажей вы испытали большую приязнь и уважение?

– К Хорю, Гавриил Андроникович! – искренне ответил я, потому что тогда мне такие основательные умные русские хозяйственные мужики и сами по себе в реальной жизни нравились, да еще тургеневский Хорь напоминал мне лицом одного из них, очень мне симпатичного.

– Вы хотите сказать – к Хорю? – спросил меня и почему–то как–то менее вежливо и мягко, чем обычно, с каким–то раздражением, учитель.

– Нет, почему, Гавриил Андроникович? Я всегда склоняю так: Хорь, Хоря, Хорю, Хорем и о Хоре...

– Неправильно! – безапелляционно отрезал Хмелев, – надо склонять: Хорь, Хорю, Хорем, Хоря, о Хоре...

Разумеется, мне ничего не стоило бы сказать: «Хорошо, Гавриил Андроникович!» – и продолжить всюду и во всех случаях, кроме этого урока, говорить по–своему. Но я не тем миром был мазан.

– Я не могу говорить «Хорю, Хоря»! – спокойно, но и чересчур уверенно возразил я.

– Это еще почему? – удивился, но и возмутился педагог.

– По–моему, это неправильно. У нас в деревне каждое лето несколько хорьков пастками ловят. И всегда все говорят: «Хоря поймали», а не «Хоря поймали»!

– Мало ли что у вас там где–то в деревне крестьяне говорят!

– И не только крестьяне! – уже упрямо нагнул я лоб, чувствуя, что за моей спиной уже возникают в классе настроения тотализатора: кто кого победит!

Почувствовал это чем–то, видимо, с утра возбужденный (а разве это исключено и при профессии учителя словесности?) Гавриил Хмелев.

– А я требую, чтобы вы прекратили это препирательство и говорили так, как вас учу говорить я, а не псковские мужики!

– А я так не могу говорить, потому что так не только мужики говорят, а и моя мама и моя бабушка...

– Так вы отказываетесь выполнить мое настояние, Успенский?!

Я внутренне немного похолодел, но сказал смело:

– Я не могу говорить «Хоря»!

Бывает же такое со взрослыми людьми. Внезапно Гавриил Хмелев весь побагровел, даже маленькая лысинка его стала багрово–красной... Руки у него затряслись, подбородок запрыгал.

– Немедля выйдите из класса! – цепенея от бешенства, процедил он сквозь зубы.

Я встал и пошел к двери.

– ...и тотчас же пройдите к директору! – сдавленным голосом крикнул он мне вдогонку. – И скажите, что я удалил вас из класса! Что я – выгнал вас с урока! – вдруг как–то даже взвизгнул он...

Я шел к директору далеко не в веселом настроении: быть выгнанным с урока плевое дело, но вот быть «отправленным» к директору – это было уже гораздо хуже. Я постучался в дверь директорского кабинета – «Да, войдите!»

Директор сидел за письменным столом, занимаясь; напротив него на стене висела знакомая нам всем картина с каким-то непонятным античным сюжетом: масло и золотая рама.

— Так! – сказал Александр Лаврентьевич, кончив писать и подняв глаза на меня, – почему вы во время уроков являетесь сюда, Успенский?

— Меня Гавриил Андроникович выгнал.

Я был из категории «хороших» учеников, а не из «шалопаев».

— Вас? – удивился Липовский. – А за что?

— За «Хоря», – объяснил я. Но директору это не показалось объяснением.

— Как за «хоря»? Что вы под этим подразумеваете?

— Да! Я привык склонять «хорь, хоря, хорю». А он требует, чтобы «Хоря и Калиныча». А я так не согласен. У нас все мужики говорят «за етого хоря хоть курей не дяржи!». Почему же я должен тут язык коверкать? И у Тургенева – ударения нет...

Александр Лаврентьевич Липовский снял пенсне и глядел на меня без него.

— Скажите, пожалуйста, какой глубокий теоретический спор! – проговорил он, наконец. – А Вы... не грубили учителю? Вы вежливо говорили?

— По-моему – вежливо... но я сказал, что так говорить не буду.

— Так-с! – пробормотал Александр Лаврентьевич, как я теперь понимаю, соображая, как же найти педагогически верный выход из этого сложного положения.

— Так-с... Вот что: садитесь вот на этот стул... Вот, возьмите книгу: можете посмотреть картинки... Я сейчас вернусь: мне нужно одно распоряжение дать – и займусь этим делом...

Я остался один. Теперь я вполне уверен: словесник Липовский, не доверяя себе, пошел рядом, в «фундаментальную библиотеку», снял с полки Даля или еще какой-либо словарь и посмотрел, как все же ложатся ударения при склонении слова «ХОРЬ». Заглянул в какой-либо тогдашний орфографический справочник.

Отсутствовал он довольно долго. Раздался звонок на перемену. По коридору протопали ноги всех преподавателей. Затем они же ушли обратно на уроки. И только тогда Александр Лаврентьевич торопливо вошел в свой кабинет.

— Ну вот что, Успенский! – сказал он, сделав мне рукой знак продолжать сидеть и сам садясь. – Как понимаю, в этом случае с

«Хорем» – особенно когда слово «хорь» становится прозвищем человека – допустимо и такое и другое ударение. Я даже думаю, пожалуй, что Вы были правы в вашем споре. Но! Но надо же иметь в виду: не подобает ученику перед всем классом вступать в спор со своим преподавателем... Ты бы должен был выполнить его требование, а потом подойти к нему в зале... или – в учительской... и постараться доказать свою правоту. И теперь – я тебя принуждать не хочу, но советую... когда у вас следующий «русский язык»? Послезавтра? Ну вот, мой искренний тебе совет: как только Гавриил Андроникович войдет в класс, сразу же скажи ему: «Гавриил Андроникович, простите меня, я погорячился!» Поверь мне, что тебе потом самому же будет куда легче... Понял ли меня, Успенский? Ну – Вы свободны!

Так все и произошло. В среду я, весь настороженный, ждал, когда в дверях покажется коренастый усатый Гавриил, и, сорвавшись с места, кинулся со своим извинением. И – не успел. Потому что Гавриил Андроникович, слегка зарумянившись, в тот же самый миг громко и четко сказал на весь класс: «Успенский, извините меня, я погорячился!»

Я много обдумывал потом эту «педагогическую новеллу». Я совершенно убежден, что Александр Лаврентьевич очень хитро все подстроил. Он предпринял все нужные шаги, чтобы я и педагог не столкнулись сразу же, после окончания урока. Он нарочито задержал меня в своем кабинете, дабы вывести нас обоих из неловкого положения. А Гавриила Андрониковича он, несомненно, поймал в коридоре или учительской и сумел конфиденциально побеседовать с ним на острую тему о перемещении ударения в слове «хорь». Потому что ведь у меня же были основания защитить свою точку зрения:

псарь, псаря, псарем,

царь, царя, царем,

так почему же вдруг: Хорь, Хоря, Хорем?

Непонятно!

И вот таким сложным способом, дав молодецкой крови перекипеть в жилах у обоих комбатантов, А. Л. Липовский, по-моему, разрешил нелегкий педагогический казус, не пожертвовав ни репутацией учителя, ни самолюбием и верой в силу правды ученика. Поистине – «по-майски».

Прошло лет двенадцать, я уже пригласил А. Л. Липовского преподавать какой-то методический литературный предмет на школьном отделении ЛИТО ВГКИ. Настал день, и, сидя в канцелярии курсов – я был уже секретарем учебной части их – вдвоем с

Александром Лаврентьевичем, я вспомнил казусный случай, рассказал его так, как только изложил вам. Рассказал и спросил, так ли, как мне это представлялось, он поступил, так сказать, «за кулисами» от меня?

Александр Лаврентьевич, только улыбнувшись, снял пенсне, потом снова надел его. Потом он легко коснулся рукой моего колена.

– А вот этого, Лев Васильевич, я, как на грех, и не помню. Забыл, знаете: полностью запамятовал. Так что оставим под сомнением, а? Особое мнение.

У меня нет ни малейших оснований как-либо изменять или вуалировать имя, отчество и фамилию моего другого учителя русского языка и словесности, в некоторые годы – преподавателя истории, в другие – старославянского языка и на протяжении нескольких лет моего классного наставника – Михаила Николаевича Шатунова.

На всю жизнь я сохранил по отношению к Михаилу Николаевичу благодарность и самое приятное чувство, и мне необыкновенно радостно написать тут, что сейчас, когда я собираюсь рассказывать читателям о нем, он, мой классный наставник, он, мой бывший воспитатель, ныне семидесятилетнего литератора, – жив и бодр и пишет мне письма из Саранска, где живет, и при встречах поражает всех нас удивительной, через край бьющей жизнерадостностью, интересом к миру и – молодостью не только духа, но и крепкого, не по годам подвижного тела своего.

Так вот, в классе пятом или шестом мы от «Записок охотника» дошли уже до тургеневских романов. Прочли «Отцов и детей» и получили задание написать об этом произведении «сочинение».

Мне стало к этому времени уже пятнадцать, а то и шестнадцать лет. Самый возраст, когда все общепризнанные точки зрения кажутся заслуживающими немедленного ниспровержения. То, что в классе говорил о Базарове Михаил Николаевич, было построено на всем известных взглядах на него как на представителя передовых и безоговорочно всем приличным людям симпатичных слоев русского общества середины прошлого века, а на всю семью Кирсановых как на людей со смешными, хотя и по-разному у каждого, взглядами, привычками, идеалами, может быть, кое в чем и жалостно-умилительных, но уж абсолютно не способных привлечь к себе приязнь какого бы то ни было разумного и прогрессивно мыслящего человека.

Не скажу уж теперь, в какой именно связи причин, но мне эти оценки показались и неверными, и неприятными. Особенно антипатичен с самого начала стал мне типичный механист Базаров. И я пошел на спор с кем-то из моих одноклассников – лучших учеников, что напишу антибазаровские и прокирсановские сочинения.

Совершенно не помню теперь ни системы моих доказательств, ни самой структуры моей, как это тогда называлось, «классной работы», но она была написана. Более того, Михаил Николаевич Шатунов, выдавая работу в порядке от лучших к худшим, поставил мою на первое место. И оценена она была им чистой синей пятеркой на последнем, по-моему – пятом, листе писчей бумаги.

Но, отложив нерозданные работы, Михаил Николаевич задумался и некоторое время молча сидел за своим преподавательским столом. А потом он вдруг поднял на нас свои глаза и сказал: «А теперь я предлагаю вам всем – мне, как вашему преподавателю, и всем тем из вас, кто в своих работах стали на точке зрения, которые я вам излагал, прослушать внимательно то, что – на бесспорную пятерку! – написал Успенский, и, как мне представляется необходимым, крупно поспорить с ним. Прошу Вас, Успенский, садитесь на мое место и прочтите нам Ваше сочинение...»

Должен сказать, что отстаивать мои несколько парадоксальные точки зрения было бы значительно потруднее, чем добиться правды в вопросе о «Хоре» и «Хоре»; но и мои противники только хватили горюшка, ибо я взвился на дыбы и, как только решение спора было перенесено на «следующий урок», зарылся в критике тех дней и в современных литературоведческих статьях. Я очень скоро заметил распадение на две сражающиеся группировки самого прогрессивного лагеря тех давних времен, я прочел и статью Антоновича, и восторженные оценки Писарева. И дал жару всем моим противникам, за исключением, может быть, только самого Михаила Николаевича (который, надо прямо сказать, умело столкнул нас между собой, оставил за собою только роль руководителя прений).

Разбор моей статьи (а в связи с ней и мощные типы всевозможных «источников» и по истории литературы, и по истории общественной мысли той эпохи) продолжался две или три недели. Прения были вынесены за пределы часов занятий. И когда, наконец, стороны, при некоторых подвижках внутри их рядов, остались каждая при своем мнении, Михаил Николаевич, подведя итоги спорам, удовлетворенно сказал: «Ну, в одном я уверен совершенно: о романе у каждого из вас теперь появилось и будет жить свое личное, вами самими выработанное мнение...»

Не так уж много в те годы было в России гимназий и реальных училищ, в которых учителя не только не мешали ученикам иметь свою точку зрения, но поощряли такую самостоятельность в мыслях и считали, что ее наличие в умах их учеников именно и создаст в них настоящее, реальное знание мира.

Диспут о молитвословии

Во всех почти школах тех дней, какими бы ни были у ученика отметки по остальным предметам, в графе четвертного свидетельства «закон божий» стояла обычно пятерка.

В гимназии – не по внутренним, а по внешним, свыше идущим предписаниям – каждый день начинался с утренней молитвы. Все учащиеся выходили по этажам в свои залы, строились в ряды; читались, а отчасти и пелись, подобающие молитвы, в том числе «Преплагий господи!» – молитва перед началом учения, которую (здорово умели вдалбливать) я, как и латинские изречения, слово в слово помню поныне.

В классе пятом процедура эта мне как-то опостылела (не от неверия – я был тогда вполне верующим юнцом, а от удручающей ее фальши). Хорошо было Жоржке Шонину: он удивительно владел собственным организмом. Он умел, встав в ряды, так задержать дыхание, что тут же падал в обморок, и его с торжеством уносили в «докторский кабинет». Умел он также так наглатываться воздуха, что его живот превращался в какой-то барабан, и тотчас же вслед за этим опять-таки наступало обморочное состояние.

Я не обладал такими способностями и с какого-то дня просто перестал ходить на общую молитву.

Я был первым учеником по закону божьему. Батюшка прождал неделю, другую и спросил меня на уроке: «Успенский, почему я не вижу вас на утренней молитве?»

В том году мой брат увлекался историей средних веков. Он принес из библиотеки толстенную книгу Л.Карсавина «Средневековая религиозность». Не терпел возле себя непрочитанных книг, раньше брата прочитал ее от корки до корки и так внимательно, что и сейчас помню и по-русски, и по-латыни даже некоторые приведенные в ней школярские песенки!

Начитавшись такой книги, я спокойно объяснил батюшке: «Видите ли, батюшка, мне довелось прочесть, что Блаженный Августин рекомендовал молиться лишь в тех случаях, когда в душе человека возникает порыв к молитве. Иначе – молитва будет пустым глаголением...»

Отец Димитрий удивился такой моей римско-католической начитанности, покачал головой, спросил – откуда мне сие? Но спорить не стал.

Однако на следующем уроке он снова во всеуслышание вернулся к этой теме:

– Я хочу Вам вот что сказать, Успенский... Блаженный Августин был спорно мягок в своих взглядах. Но вот Святой Бенедикт Нурсийский – тот полагал, и отразил это в своем монастырском уставе, что христианин обязан ежедневно упражняться в молитве,

преодолевая человеческую слабость и понуждая себя возноситься духом к горе...

На следующий раз я подготовил уже высказывания по этому же вопросу не то Бернарда Клерворского, не то святого Франциска из Ассизи. Батюшка покрыл меня мнением Клерворского же, но Бенедикта. И так мы с ним препирались чуть ли не на протяжении целой четверти, если не больше. И я стоял на своем, и он стоял на своем, и ни разу наши разногласия не отразились на моей исконной пятерке в четверти. И ни разу батюшка не позволил себе осадить меня каким-нибудь резким окриком, вроде: «Да что Вы, Успенский, плетете! Скажите просто – лень мне стоять на молитве. А я вам скажу: извольте стоять!»

Нет, он, батюшка, придравшись к такой возможности, довольно умно, остро и осведомленно говорил на этих уроках и о католицизме в целом, и о католическом монашестве, и об аскетизме, и о его неприятии... И безусловно, все это объяснялось не просто личными свойствами этого умного и образованного священника, а тем, что сама наша гимназия, в лице своих и директора, и попечительского совета, и педагогического совета, отыскивала и приглашала на работу к себе именно таких учителей.

Было почти правилом: майские педагоги являлись составителями известных, изучавшихся во всех передовых школах учебников.

Большинство моих сверстников помнят «Глезера и Пецольда», учебник немецкого языка. Так вот, господин Пецольд, высокий старик в военной форме (он преподавал также в каком-то кадетском корпусе), был нашим учителем.

Нашим учителем был и Федор Индриксон, автор несомненно лучшего по тем временам учебника физики. Человек, обладавший большим чувством юмора, которое нам, школьникам, порой представлялось чудачеством. Он вызывал кого-либо из самых слабых учеников, всю четверть тихо дремавших на задней, самой высокой скамье нашей амфитеатром построенной физической «аудитории», долго пытался вытянуть его хоть на тройку с минусом и потом возглашал нараспев, на всем нам знакомый и памятный мотив: «Эх, Телов! Возможно, благодарное потомство когда-либо водрузит Вам памятник, Тело-о-о-о-о-в, а я, уж простите, сейчас водружу Вам – одну!»

Помнится, я, прочтя в его же учебнике характеристику свойств тогда еще предполагавшегося существующим эфира, в которой указывалось, что эта субстанция одновременно обладает упругостью, превышающей упругость закаленной стали в 10 в какой-то огромной степени раз, и в то же время разреженностью примерно в такое же число раз большей, чем разреженность воздуха в электролампочке с

наивысшим из мыслимых вакуумов, когда Федор Николаевич вызвал меня к доске, я заартачился, отказался отвечать урок и в объяснение заявил, что я «вообще не согласен». И на вопрос – «С чем же, к примеру?» – признался. Что эта постулируемая противоречивость свойств эфира представляется мне ничуть не более умпосыгаемой и рациональной, нежели известное утверждение катехизиса: «Бог един, НО троичен в лицах». Я ни того ни другого постичь не мог и склонен был полагать, что существование такого «эфира» есть чистый нонсенс.

Типичный скандинав по внешности, Федор Николаевич долго рассматривал меня и так и эдак голубыми глазами своими, потом хмыкнул раза два или три себе в белые усы...

– Судя по всему, что я слышу, Успенский из шестого класса – преуспевающий натур–философ. Ну что же? Предоставим Успенскому исповедовать его собственную теорию... Не будем возводить его как второго Джордано Бруно на костер, а разрешим ему сесть на место... Не глупо, Успенский, не глупо!

И он поставил мне какую–то вполне удовлетворительную отметку за этот странный ответ. Помню, и я, и все мои одноклассники очень удивились такой его кротости. И только много лет спустя я сообразил, что нечаянно попал пальцем в достаточно существенную «язву» тогдашней физики. Ведь опыт Майкельсона был выполнен уже три с половиной десятилетия назад. Ведь лет шесть назад, как говорится в литературе, «впервые получила официальное признание деятельность Эйнштейна». И, собственно говоря, только по школьной традиции теория эфира еще существовала в учебниках. Я–то не знал всего этого, а Федор Индриксон отлично знал. Я совершенно «от здравого смысла», а не от физических познаний нащупал ахиллесову пяту тогдашних физиков: теперь в БСЭ говорится чуть ли не слово в слово то, что я заявил тогда Индриксону. «Так, поперечность световых колебаний требует, чтобы эфир обладал свойствами упругого твердого тела; в то же время требуется, чтобы эфир не оказывал сопротивления движущимся сквозь него телам...» «Модель эфира, таким образом, должна была обладать трудно согласуемыми свойствами»...

Однако, в те времена мы с Ф.Н.Индриксонем еще не читали БСЭ, и честь ему и хвала за то, как мирно и с достоинством он утвердил свое свободомыслие, как спокойно отказался от своего учительского права настаивать и заставлять.

Я бы мог, вне всякого сомнения, написать о гимназии Мая целый толстый том. Я мог бы еще и еще перечислять наших педагогов, бывших в то же время и популярными авторами детских и юношеских книг. Таким был С.А.Порецкий – биолог, написавший отличную книжку

«В лесу и в поле» (кажется, так), Таким был Евгений Иванович Чижов, автор целого ряда очень милых детских книг по географии и астрономии.

Было много учителей, которые не писали книг, отдавая все свои силы преподавательской работе. И удивительно то, что почти обо всех о них у нас, «майцев», сохранились до старости лет самые лучшие воспоминания, самые теплые чувства. Сами их странности и некоторые «чужачества» вспоминаются теперь с удовольствием, с легкой улыбкой... И грозное, раскатистое, построенное по хроматической гамме постоянное «но–но–но–на–нэ–нэ–ну–ну!» Сергея Михайловича Введенского, превосходного латиниста, без памяти влюбленного в свой предмет. Ведь оттого, что учитель был влюблен, и ученики относились не с тоской и озлоблением ко всем этим «ут консективум» и «кум хисторикум», а – во всяком случае многие – с интересом и любопытством. Велико счастье тех юношей, для которых «медь торжественной латыни» запела впервые не на древних плитах взрослых их путешествий, а еще на страницах Юлия Цезаря и Овидия Назона... в детстве!

Я был плохим математиком, но то, как преподавал свой предмет Леонид Семенович Ярославлев, сделало эту неприступную даму – математику если и не предметом моего пламенного обожания, то во всяком случае предметом глубокого уважения и интереса.

Удивительной фигурой остался в моей памяти и словесник Николай Константинович Ядрышев. Этот весьма примечательный филолог родился где-то в Карелии, в семье тамошнего сельского священника. Вполне естественно, что с раннего детства у него оказалось два родных языка – русский, на котором говорили родители, и карельский – язык его нянюшки, язык ребят, с которыми он играл на окружавших село моренах в «бараньих лбах».

Отец Николая Константиновича был, по-видимому, человеком широких горизонтов и дальнего прицела. Он отправил сына учиться не в гимназию, не в Петербург, а в Гельсингфорс. Мальчику было нетрудно овладеть финским языком, зная карело–финский. В гимназии финской столицы, помимо тех языков, которые были обязательны в школах Российской империи – русского, французского, немецкого, латинского, греческого, учащиеся занимались еще финским и шведским языками.

Тот, кто знает немецкий и шведский языки, без всякого труда может при желании изучить норвежский и датский. Зная эти четыре языка да еще французский, грешно и странно не овладеть английским. Владение же французским языком и латынью открывает широкий путь к романским языкам – итальянскому, испанскому, португальскому.

Конечно, все эти возможности остаются теоретическими возможностями без способностей к языкам и без упорства и настойчивости. Николай Константинович обладал этими необходимыми для полиглота свойствами. Он почти свободно, почти в одинаковой степени владел (не считая русского) финским, шведским, норвежским, датским, английским, французским, латынью, итальянским, испанским, польским, чешским, болгарским языками. Почти что на моих глазах он изучил португальский язык – и при довольно курьезных обстоятельствах. Работая в библиотеке Горного института, он однажды принес домой какую-то испанскую книгу, какой-то современный роман – так, почитать. Но когда он эту книгу развернул, оказалось, что он допустил ошибку: книга оказалась не испанской, а португальской; только титульная страница могла быть прочитана и как испанская... Между тем заглавие и иллюстрации обещали интересное чтение. И Николай Константинович, поставленный перед выбором – либо отнести роман обратно в Горный, либо одолеть и португальский язык, предпочел второй путь и за какой-нибудь месяц, взяв в руки грамматику языка Камозенса и Лопе де Вега, справился с ним...

Мне трудно остановиться, раз я начал говорить о гимназии Мая, о той школе, которая, несомненно, сформировала и сложила меня как личность, как человека.

Я должен был бы сказать о Веньямине Аполлоновиче Краснове, сменившем М.Н.Шатунова в амплуа словесника в моих старших классах. Курс Пушкина, который он нам читал, ничем не отличался по красоте построения, по глубине анализа, по увлекательности от любого профессорского, университетского курса. И это говорю я, слушавший несколькими годами позже и Ю.Н.Тынянова, и Б.В.Томашевского... Я должен был бы упомянуть вдумчивого историка Александра Августовича Герке, и прелестного «француза» нашего Антуана Альбера, и преподавательницу немецкого языка Антонину Францевну Иогансон, перед которой я чувствую особую вину свою и особую ответственность. Ведь это не кто иной как я вызвал у нее однажды на уроке отчаянный возглас: «Как может один человек – и столько трепаться!» Я был бы рад, если бы узнал, что Антонина Францевна прочла эти относящиеся к ней строки!

Надо прямо сказать, что школе нашей было далеко не так просто «соблюдать свое лицо». Шварца сменял Кассо, на посту «попечителей округа» появлялись его ставленники, все «бессарабцы», земляки Пуришкевича и Крупенского, вроде С.Прутченко... И эти попечители нет-нет и снисходили в гимназию, дабы «попечительствовать» над нею, то есть проверять, в какую глубь крамолы она погрузилась. От времени до времени из «Округа» назначались к нам и преподаватели,

резко отличные от наших во всем, начиная с того, что они носили вицмундиры, тогда как наши, кроме как по торжественным дням, обходились обычной гражданской одеждой... Ревизовали нас и духовные архипастыри...

В 1913 г. учителем географии у нас оказался Александр Александрович Яковлев (я счастлив заметить, что буквально на этих месяцах я получил от него из Москвы в подарок несколько книг, написанных им, профессором, доктором географических наук, человеком вполне еще бодрым и жизнедеятельным). В начале года мы с ним проходили «Степной край» и писали на эту тему классную работу. Надо сказать, что за два года до того мне выпало на долю совершить первое в моей жизни «путешествие» – в Крым, Севастополь, Евпаторию и некоторые другие пункты Южного берега. Путешествие это произвело на меня грандиозное впечатление, и все, что я там тогда видел, было у меня еще живо и трепетало в сознании. Все это, весь мой захваченный при поездке багаж, с пароходами РОПИТ, с мылом «Кил» производства некоего Харченко, с крабами и морскими коньками, продававшихся на каждом шагу сувениров, с двуглавым Чатырдагом, который я однажды «усчастливился» увидеть (думается, благодаря рефракции) из Евпатории, как сизый огромный призрак над васильково-синим морем, – все это я вбил в ту «письменную работу» и получил за нее очень основательно помеченное «Отлично. 5». Того мало, я сразу вышел – в глазах А.А.Яковлева и всего класса – в первые ученики по географии. Это имело и свои приятности, и свои трудности.

Прошел месяц, другой, и вот в класс – не без предупреждения, наоборот, об этом было заранее известно, – грузно вступила тяжкая, с большим брюшком, с багровым затылком, виц-мундирная, с каким-то орденом на шее, фигура: попечитель округа, действительный статский советник С.Прутченко.

Надо сказать, такие визиты вызывали в нас, ребятах – это был еще третий класс – малоприятное чувство. Мы привыкли уважать наших учителей и как только замечали, что им приходится делать усилие, чтобы не быть поставленными перед нами в унижительное положение, в нас поднимался дух неприязни и протеста. Только что мы могли сделать? Лишь сильно повредить учителю...

Однако Прутченко, войдя, не произвел на нас отталкивающего впечатления. Правда, в первый миг, когда он, как бы подкравшись к двери, заглянул в нее, Дима Коломийцев, сидевший со мной рядом на парте, мгновенно шепнул мне: «В окно, страшно поводя очами, уставилась свиная харя, точно хотела сказать: «А что вы здесь делаете, добрые люди?»»

Но Гоголь – Гоголем, а мы понимали, что это свиное рыло – всерьез. Мы дружно встали. Александр Александрович вежливо взял в руки раскрытый на сегодняшней странице классный журнал, намереваясь вручить его гостю, но тот, откинув сзади фалды мундира своего, грузно, как Собакевич, так что затрещало дерево, а розовые складки затылка двумя ярусами легли на синий суконный воротник, – сел на стул и, сделав благодушный отталкивающий жест: «Не надо!» – в направлении к журналу, прохрипел не без некоторого благодушного цинизма: «А! Оставьте, господин Яковлев! Чего там... Вызовите лучшего ученика...» Я обмер...

Александр Александрович, явно для проформы, пробежал пальцем по журналу и, конечно, проговорил, не отрываясь от него: «Успенский!»

Первый – не первый ученик, а выходить–то жутковато. Но вышел. И вот, подобно трубе архангела, надо мною прогремели спасительные учительские слова: «Так–с, Успенский... Я попрошу Вас... Расскажите нам про... степной край. И я, как птичка божия, «встрепенулся и запел».

Как сейчас помню и огромную классную доску с остатками каких–то геометрических построений на ней, и солнце, падающее наискось сквозь огромное окно, и несколько встревоженную, но успокоительно обращенную ко мне физиономию Александра Александровича, и тяжелую, громоздкую тушу Прутченки, с гитарообразно расширяющимися книзу лицом и руками, непринужденно сложенными поверх мундирных золотых пуговиц на животе, с лицом, как раз освещенным этим резким весенним солнцем и потому – с благодушно зажмуренными глазами.

Я – эта способность у меня, если я знал предмет, была – журчал, словно реченька... Я описал весеннюю степь, всю горящую огоньками маков, – и Прутченко, не раскрывая глаз, как бы сквозь сон, поощрительно кивнул. Я восхитился пещерами и криптами Инкермана – и он как бы утвердил это мое восхищение вторым кивком головы. Я помянул про проекты искусственного разведения устриц – о чем тогда много говорили в Крыму и о чем я краем уха слышал, не обошел вниманием «мыло Кил провизора И.А.Харченко» и – иначе я не был бы сыном удельного служащего – ступил на почву. Которая оказалась шаткой:

«И здесь, около Ялты, – так воскликнул я – на освещенных теплым солнцем горах, из лучших сортов винограда добывается лучшее в России вино удельных погребов...»

Слова эти еще не отзвучали – сладко дремавший Прутченко вдруг приоткрыл один глаз и выпрямился на своем стуле...

– А–хм–хм... – откашлялся он. – Ну, вот это, молодой человек, – как сказать! Да, да, да, уверяю Вас... Я, конечно, не отрицаю... вина массандровских погребов – выдаются по своему качеству... Но... поверьте – я это уж более Вам, господин Яковлев... Поверьте, что некоторые марки бессарабских вин ничем не уступят государевым крымским... Так что в будущем... Имейте в виду... Имейте в виду и Вы, молодой человек, когда дорастете... Хе–хе–хе! Спасибо! Довольно!

Инспекторский смотр закончился благополучно, моя репутация первого географа утвердилась, а дома, за обедом, я все-таки с некоторым протестом сообщил нашим – и в том числе отцу – о том, что вот нашелся человек, который не считает удельные вина – лучшими...

– погоди, погоди, а кто это? – спросил меня папа. – Прутченко? Сергей? Ха! Ну еще бы, чтобы он с тобой согласился: это же один из крупнейших бессарабских помещиков-виноделов... И по-моему, он как раз сейчас хочет часть своих имений продать нам, уделама... Очень интересно: надо будет иметь в виду...

Вот и такие приключения приходилось испытывать ученикам и учителям гимназии и реального училища К.И.Мая.